

характере управления страной, который принял возглавлявшийся адмиралом режим, он знал, считал это очень печальным явлением, но мирился с ним как с временной необходимостью. Я слышала, что по поводу отдельных случаев незаконных репрессий адмирал всегда высказывался отрицательно, давал приказания об отмене неправильных мероприятий. Раза два я слышала, что те или другие беззакония определенно бывали прекращаемы по распоряжению адмирала. Больше ничего по данному делу показать не имею.

Показания мне прочитаны».

Анна Тимирёва

<«...Даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого»>

Из Омска я уехала на день раньше А. В. в вагоне, прицепленном к поезду с золотым запасом, с тем чтобы потом переселиться в его вагон. Я уже была тяжело больна испанкой, которая косила людей в Сибири. Его поезд нагнал наш уже после столкновения поездов, когда было разбито несколько вагонов, были раненые и убитые. Он вошел мрачнее ночи, сейчас же перевел меня к себе, и началось это ужасное отступление, безнадежное с самого начала: заторы, чехи отбирают на станциях паровозы, составы замерзают, мы еле передвигаемся. Куда? Что впереди — неизвестно. Да еще в пути конфликт с генералом Пепеляевым, который вот-вот перейдет в бой. Положение было такое, что А. В. решил перейти в бронированный паровоз и, если надо, бой принять. Мы с ним прощались, как в последний раз. И он сказал мне: «Я не знаю, что будет через час. Но Вы были для меня самым близким человеком и другом и самой желанной женщиной на свете».

Не помню, как все это разрешилось на этот раз. И опять мы ехали в неизвестность сквозь бесконечную, безвыходную Сибирь в лютые морозы.

Вот мы в поезде, идущем из Омска в неизвестность. Я вхожу в купе, Александр Васильевич сидит у стола и что-то пишет. За окном лютый мороз и солнце.

Он поднимает голову:

— Я пишу протест против бесчинств чехов — они отбирают паровозы у эшелонов с ранеными, с эвакуированными семьями, люди замерзают в них. Возможно, что в результате мы все погибнем, но я не могу иначе.

Я отвечаю:

— Поступайте так, как Вы считаете нужным.

День за днем ползет наш эшелон по бесконечному сибирскому пути — отступление.

Мы стоим в коридоре у замерзшего окна с зав. печатью в Омске Клафтоном¹. Вдруг Клафтон спрашивает меня: «Анна Васильевна, скажите мне, как по-Вашему, просто по Вашему женскому чутью, — чем все это кончится?» — «Чем? Конечно, катастрофой».

О том же спрашивает и Пепеляев: «Как Вы думаете?» — «Что же думать — конечно, союзное командование нас предаст. Дело проиграно, и им очень удобно — если не с кем будет считаться». — «Да, пожалуй. Вы правы».

И так целый месяц в предвидении и предчувствии неизбежной гибели. В одном только я ошиблась — не думала пережить его. <...>

И ему и мне трудно было — и черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что, даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому².

Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».

И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. И луна в окне, и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятывшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:

— Скажите, он расстрелян?

И он не посмел сказать мне «нет»:

— Его увезли, даю Вам честное слово.

Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было суждено узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал.

